



XXX. ВИЛЮЙСК

Приспешники Александра II, опасаясь, что революционерам все же удастся освободить Чернышевского, решили поселить его в заброшенном, глухом, оторванном тогда от всякой жизни Вилюйске. Вилюйск именовался городом, но, в сущности, это был обыкновенный якутский улус, лежавший к северо-западу от Якутска на расстоянии семисот пятидесяти верст.

Для Чернышевского такой исход был страшным ударом. Но он перенес и это испытание с непоколебимым спокойствием. Только по предельной краткости его первого письма к жене после неожиданного известия о переводе в Вилюйск можно догадаться о затаенной горечи, переполнявшей его сердце. «Я совершенно здоров. Живу попрежнему. И вообще все хорошо».

Теперь он лишался круга товарищей по каторге, лишался последних слушателей, с которыми ему было приятно делиться своими знаниями. Вилюйск обрекал его на полное духовное одиночество. Вместо долгожданного облегчения этот перевод из разряда ссыльно-каторжных в разряд поселенцев сулил ему только усиление кары.

Но он настолько твердо был убежден в правоте своего дела, в конечном торжестве его, что сознание этой правоты смягчало в его глазах собственную катастрофу. Благодаря этому сознанию он сумел подняться до объективной оценки своего положения и хладнокровно взглянуть на личную драму глазами революционера, мыслителя и историка. Перед ним не раз, вероятно, вставал вопрос: нужна ли была эта жертва, не следует ли ему сожалеть о безнадежно надломленной жизни, не согласился ли бы он «вычеркнуть из своей судьбы» этот период? И Чернышевский нашел в себе силы ответить: «В прошлом все хорошо...»

«За тебя я жалею, что было так, — писал он жене. — За себя самого совершенно доволен. А думая о других, — об этих десятках миллионов нищих, я радуюсь тому, что без моей воли и заслуги придано больше прежнего силы и авторитетности моему голосу, который зазвучит же когда-нибудь в защиту их».

В начале декабря 1871 года Чернышевский под конвоем жандармов был отправлен из Александровского завода в Иркутск; там он пробыл два дня. 20 декабря перед выездом в Вилуйск он послал телеграмму родным в Петербург: «Еду на север жить. Поездка очень удобно устроена, я совершенно здоров».

На север Чернышевского повезли под усиленной охраной: его сопровождали жандармский штабс-капитан Зейферт, вахмистр иркутской жандармской команды и два унтер-офицера наблюдательного состава. По письменной инструкции генерал-губернатора Восточной Сибири, состоявшей из семнадцати параграфов, жандармы должны были строго наблюдать за тем, чтобы в дороге Чернышевский не имел сношений ни с кем из посторонних лиц. Один из конвоирующих должен был в пути сидеть на козлах, а во время остановок без-

отлучно находиться при Чернышевском; другому предписывалось сидеть рядом с ним в повозке. Общее наблюдение за «порядком» поручалось офицеру Зейферту, которому велено было во время остановок на станциях помещаться в одной с Чернышевским комнате.

Далек и труден был путь в Вилюйск. Медленно двигался гуськом по снежной пустыне и по тайге небольшой караван легких повозок. Слабые из-за недостатка корма лошади еле-еле плелись и к тому же были дики и пугливы. Особенно опасны и тяжелы были переезды через реки и речки из-за наледей, на которых повозки могли провалиться и затонуть. Рассчитывать же здесь на чью-либо помощь в случае беды, конечно, не приходилось.

За Якутском русского населения уже не встречалось. Станции отстояли одна от другой на большом расстоянии—да и что это были за станции! Обыкновенные якутские юрты, где скот помещался вместе с людьми. «В этих юртах несравненно хуже, нежели в порядочных конюшнях», — писал Ольге Сократовне Чернышевский, рассказывая потом о своем переезде в Вилюйск.

Двадцать два дня длилось это изнурительное путешествие. И вот наконец, выехав из таежного леса, повозки с разбегу уперлись в частокол. Объехав его, путники попали на какое-то подобие улицы. С правой руки виднелась церковь, за церковью пустырь, а на конце пустыря, над обрывом, ведущим к берегу Вилюя, высилось большое деревянное здание острога, обнесенное забором.

В этот-то «индивидуальный» острог (в ту пору пустовавший) и был помещен под охраной стражников Чернышевский, сданный под квитанцию вилюйскому исправнику штабс-капитаном Зейфертом.

С обрыва, на котором стоял острог, виднелись за рекой дали вилюйского предместья Мастаха (по-якутски — Лес лиственниц). При одном взгляде на эти бескрайние леса, изрезанные сетью мелких речушек и болот, можно было понять, что не хуже острожных стен и решеток будут стеречь здесь узника бездорожье и топи.

Лишь месяца четыре в году — с декабря до апреля — дорога между Якутском и Вилюйском становилась более или менее сносной. В остальные восемь месяцев даже доставка почты верховыми постоянно задерживалась из-за невероятных трудностей пути по глухим таежным дебрям. Недаром люди, знавшие местоположение Вилюйска, называли этот городок естественной тюрьмой, как бы созданной самой природой.

И все же, не полагаясь на эти природные преграды, сибирская администрация предписала вилюйскому исправнику установить за Чернышевским неусыпный надзор. Стражники ни на минуту не должны были выпускать Чернышевского из виду. Выходил ли он в город или на прогулку по опушке леса, унтер-офицер, которому разрешалось быть в «партикулярной одежде», следовал по его стопам.

Посторонние лица могли посещать Чернышевского только по разрешению исправника или унтера. Даже в ночное время не оставляли его в покое. Дежурный стражник заглядывал к нему и в поздний час, делая вид, будто он пришел последить за огнем в камельке или убрать что-нибудь из посуды.

Двенадцать лет прожил великий узник в этой ледяной пустыне, окруженной тайгой, болотами и топями. Он и тут не изменил всегдашней привычке изображать свое положение с самой лучшей стороны.

«...Что касается меня, я здесь живу удобно: дом, в котором я помещаюсь, имеет большой зал и пять просторных комнат; все это очень опрятно; совершенно тепло», — писал он жене недели через две после прибытия в Вилюйск. Но стоило потом Ольге Сократовне заикнуться о возможности приезда к нему, как он встревоженно умоляет ее:

«...Повремени исполнением этого желания. Может быть, через полтора года, — может быть, через год, — может быть, и через полгода, я попрошу тебя доставить мне счастье видеть тебя и детей. Но подожди, пока это будет моей просьбой к тебе. До той поры повремени».

Те, кому доводилось видеть «хоромы», в которых поселили Чернышевского, описывали место его заключения совсем по-иному: «В камеру Николая Гавриловича вела дверь, обитая клеенкой... Прямо против двери — два окна с решетками, очень высоких, но свету в комнате было сравнительно мало, ибо окна глядели прямо в чостокол и из них не виднелось даже кусочка неба. Сама камера была очень сырая, так что Николай Гаврилович... не мог сидеть без валенок, иначе сейчас же начиналась ломота в ногах».

С первых же дней пребывания в этой полярной тюрьме Чернышевский ясно понял, что представляет собою место его «вольного» поселения. В городе не было ни одной лавки — товары, необходимые для жителей, продавались торговцами в их собственных квартирах; многого нельзя было здесь достать даже за большую цену, особенно из предметов домашнего обихода. По приезде Чернышевскому удалось случайно приобрести что-то вроде тарелки и подсвечник. Когда же он попросил купцов продать ему хоть четверть фунта мыла, то в ответ услышал: «У самих нет».

Население города едва достигало пятисот душ обоего пола. Это были якуты, казаки и русские мещане. Несколько мелких чиновников да два священника составляли всю вилюйскую «интеллигенцию». Основным занятием вилюйчан была торговля с якутами, разбросанно жившими по реке Вилюю. В городе насчитывалось всего десятка два обычных построек русского типа: неприглядные деревянные домишки, расположенные вдоль двух параллельных улиц. Якуты жили в юртах, в окошках которых вместо стекол зимою вставлялись льдины, а летом — пузырь.

«Вилюйск — это по названию город, — писал Николай Гаврилович жене, — но в действительности это даже не село, даже не деревня в русском смысле слова, — это нечто такое пустынное и мелкое, чему подобного в России вовсе нет... Занемочь здесь сколько-нибудь серьезно — это значило бы наверное умереть».

Часами ни малейшего признака жизни нельзя было обнаружить вокруг, ничто не нарушало мертвенной тишины безлюдных улиц Вилюйска, погруженного в беспробудную зимнюю спячку.

Однообразно и медлительно тянулись день за днем, неделя за неделей. Чернышевский ни с кем не общался. Прогулки, книги, письма от родных — вот все, что еще могло хоть несколько скрашивать томительность его существования в полном одиночестве. По целым неделям иногда он не видел никого, кроме своих стражников и якута, приносившего ему самовар и еду.

Книг, присылаемых ему родными из Петербурга, хватало ненадолго — каждую из них он перечитывал по многу раз. А письма приходили редко: раз в два месяца.

День начинался для него поздно — он вставал часу в двенадцатом, пил чай и отправлялся гулять. С прогулок часто возвращался покурить, почитать, лежа в постели. Потом опять уходил бродить. Он очень много курил, то и дело пил чай, заваривая его так крепко, что за месяц ухитрялся расходовать не меньше трех фунтов. В одном углу его комнаты стоял огромный сундук, доверху наполненный годовым запасом сахару и чаю, в другом — целый магазин табаку. Так уж было принято в Вилюйске запастись подобными предметами потребления на целый год.

Прошло несколько месяцев, и с конца апреля дохнуло приближением весны. Река еще не вскрылась, но снег на открытых местах большею частью уже сошел, да и в лесу появились проталины, на которых показались миниатюрные былинки.

Весною через Вилюйск проследовали к месту своего поселения товарищи Чернышевского по каторге на Александровском заводе — Шаганов и Николаев. Распутица задержала их на несколько дней в Вилюйске. С еле сдерживаемым волнением встретил их Николай Гаврилович после пятимесячной разлуки. Они не услышали от него ни одного слова жалобы на свою судьбу, но участью их он был озабочен и огорчен. Вспоминая, с каким самообладанием держался Чернышевский в эти тяжелые минуты прощания в Вилюйске и ранее на Александровском заводе, Николаев писал: «...он проявил такое величие и благородство души, о которых мне и теперь трудно вспоминать без слез...»

Друзья уехали. Может быть, именно с ними в скором времени стал тайно сноситься вилюйский узник. Это предположение невольно приходит на ум, когда читаешь любопытную запись, сделанную одним из по-

литических ссыльных со слов дочери врача, служившего в семидесятых года в Якутской области. Вот ее рассказ о путях, которыми шла контрабандная переписка Чернышевского с другими политическими ссыльными в России. «Первым посредником по передаче писем Николая Гавриловича Чернышевского был приказчик паузка¹ Лемешевский (впоследствии управляющий соляными копиями). С бесчисленными предосторожностями, после бесчисленных наказов и проверки честности того, кому поручалась передача писем, олекинские ссыльные с душевным трепетом и волнением вручили Лемешевскому первую пачку писем на имя Николая Гавриловича Чернышевского.

Посредник оказался человеком несомненно порядочным, а главное изворотливым, и впервые взятую на себя задачу выполнил блестяще. Он сумел проникнуть в скромную обитель великого страдальца и передать ему живую весть. Николай Гаврилович, не подозревая, какую великую радость мог дать ему Лемешевский, два раза отклонял попытки последнего к свиданию. То сказывался занятым, то очень больным. Наконец он согласился остаться с назойливым вестником с глазу на глаз. Лемешевский молча вынул из-за пазухи пачку писем и подал ее Николаю Гавриловичу.

Тот недовольно и недоверчиво сначала протянул руку и взглянул на адреса... Все понял, побледнел, в радости, как будто в испуге, откинул голову назад, а потом порывисто бросился и поцеловал Лемешевского. И долго не мог прийти в себя, молча ходил из угла в угол и все курил, курил... Лемешевский счел нужным оставить его одного.

¹ Паузки — крытые лодки, ходящие по сибирским рекам с товарами.

Часа через три он вошел к Николаю Гавриловичу снова. Теперь Николая Гавриловича нельзя было узнать: глаза блестящие, на щеках играл румянец, голос окреп и звучал бодро. Благодаря Лемешевского, говорил, что он внушил ему и снова зажег желание жить.

Лемешевский уходил от Николая Гавриловича с пачкой рукописей, которые тот должен был доставить в Олекминск. А из Олекминска, зашитые в подушки и матрацы, чтобы проскользнуть через обыск в Нохтуйске, они шли в Россию будить и питать революционную мысль».

По установленному сибирской администрацией порядку, жандармского унтер-офицера, возглавлявшего надзор за Чернышевским, назначали в Вилюйск из Иркутска. При этом решено было сменять унтер-офицеров ежегодно из опасения, что они могут подпасть под влияние Чернышевского.

Во время свидания с Шагановым в Вилюйске Николай Гаврилович рассказал ему, между прочим, что охраняющий его унтер-офицер Ижевский отличается крайней жестокостью и подозрительностью. Самоуправство его не знает границ: зимою, уходя пьянствовать, он запирает острог, а потом пытался вообще возвести это в систему и стал запирает острог с «казенной зари», то-есть с девяти часов утра. Не случайно был прислан из Иркутска именно Ижевский. Дело в том, что первый побег Германа Александровича Лопатина из иркутской тюремной камеры произошел в его дежурство. Лопатин, сталкивавшийся с Ижевским в заключении и ненавидевший его до глубины души, избрал для своего побега день его дежурства, зная, что в случае удачи тяжесть ответственности падет на этого стражника. Но месть не удалась. Лопатин был, по собственному его выражению, «затравлен по

горячему следу» восемью верховыми жандармами. Когда Лопатина настигли, рассвирепевший Ижевский едва не зарубил его саблей

Этого-то унтера, хорошо знавшего в лицо Лопатина, и решило иркутское жандармское управление приставить к Чернышевскому в Вилюйске, давши ему в помощники двух местных урядников казачьего полка. Назначая Ижевского, жандармское управление стремилось предотвратить осуществление Лопатиным новой попытки спасти Чернышевского.

Летом 1872 года Лопатин совершил свой второй побег. В двухвесельном челноке-душегубке уплыл он вниз по Ангаре, спустился через знаменитые ангарские пороги и добрался постепенно до Енисея, где и вышел на берег в Усть-Тунгузке, проплыв в одиночку около двух тысяч старых «екатерининских» верст. Путь по Ангаре был особенно труден. Местами ему приходилось обходить слишком опасные пороги и волочить лодку по земле, потом он опять спускал ее в реку и стремительно несся по узким проходам порогов, рискуя ежесекундно разбиться.

Выйдя на берег в Усть-Тунгузке и пробравшись отсюда через таежный перевалок в шестьдесят верст на Старо-Ачинский тракт, он доехал на крестьянских лошадах до Томска.

Можно представить себе, какой невообразимый переполох вызвал этот побег. 2 сентября вилюйский исправник получил от якутского губернатора следующее извещение: «Председатель совета главного управления Восточной Сибири генерал-майор Дитмар сообщил, что коллежский секретарь Герман Александрович Лопатин, содержавшийся в Иркутском тюремном зámке и освобожденный в начале сего года из-под стражи, с учреждением над ним секретного полицей-

ского надзора, 7 августа скрылся из своей квартиры и не разыскан. В Иркутске Лопатин проживал под именем Любавина и был заподозрен в намерении освободить из ссылки Чернышевского, почему генерал-губернатор Восточной Сибири командировал в Якутск и Вилюйск для проверки надзора за государственными преступниками своего адъютанта, штаб-ротмистра князя Голицына. Предлагается вам оказать содействие князю Голицыну и принять меры к усилению охраны Чернышевского во избежание побега».

Вилюйский исправник принял, разумеется, все меры предосторожности и тотчас сообщил губернатору, что коллежского секретаря Лопатина в Вилюйском округе не оказалось, а за Чернышевским установлен бдительный надзор, так что убежать ему из Вилюйска нет никакой возможности.

Как раз в это время Лопатин и очутился в Томске с паспортом доктора в кармане. Он не знал, что иркутские власти уже успели разослать по всей Сибири его фотографические карточки. По ней-то и был он узнан и задержан на улице Томска одним из полицейских. Напрасно кричал Лопатин, грозя подать жалобу на полицейского; тот не отпускал его и повел к губернатору. Тут Лопатин, войдя в роль, стал жаловаться, что на улицах города полоумные или пьяные полицейские задерживают почтенных людей. В ответ полицейский предъявил губернатору фотографическую карточку Лопатина. Герман Александрович со смехом заявил, что изображенное на карточке лицо скорее напоминает американского президента Линкольна, нежели его, доктора. Губернатор заколебался и, принеся извинения Лопатину за недоразумение, приказал отпустить его. Однако полицейский стал настаивать, чтобы губернатор разрешил ему свести Лопатина в гостиницу

на очную ставку с приехавшим из Иркутска поляком, знавшим Германа Александровича в лицо. Тут дело повернулось по-иному. Едва переступили они порог комнаты приезжего, как тот, взглянув на Лопатина, вздрогнул и смутился, изумленный его появлением в сопровождении полицейского.

— Что же делать... сорвалось... деваться некуда... — проговорил Герман Александрович. Его взяли под стражу и снова отправили в иркутскую тюрьму.

Яркая личность Лопатина привлекла внимание иркутского генерал-губернатора Синельникова. Он стал посещать Германа Александровича в тюремной камере, подолгу беседовал с ним и постепенно проникся глубоким уважением к уму, знаниям и силе характера этого человека.

Лопатин смело признался Синельникову, что действительно целью его поездки было спасение Чернышевского. Он так горячо и убедительно обрисовал Синельникову тяжесть положения великого узника, обреченного влачить мучительное существование в глухом Вилюйске, что генерал-губернатор решился ходатайствовать перед Третьим отделением о смягчении участи Чернышевского, прося перевести его в Якутск под особый надзор полиции. Дело о побеге самого Лопатина Синельников просил прекратить. В ответ генерал-губернатор получил телеграмму, в которой о Чернышевском не было сказано ни слова, а относительно Лопатина сообщалось, что государь не соизволил дать согласие на прекращение дела Лопатина, «предосудительный образ действий которого памятен его величеству».

10 июня 1873 года Лопатина привезли в иркутский окружной суд для дачи показаний. Проходя по двору суда под стражей, он видел, как приехавший в суд за

справками чиновник привязывал к коновязи лошадь. Тотчас в голове его родился дерзкий план. Во время перерыва заседания суда Лопатин, выйдя вместе с «подчаском» освежиться на крыльцо, прыгнул на землю, быстро подбежал к лошади, оборвал повод, вскочил в седло и ускакал в лес, тянувшийся бесконечно на север вдоль Якутского тракта.

Через месяц, после множества опасных приключений, Лопатин, переодетый крестьянином, в собственной телеге и на собственной лошади не спеша двигался по направлению к Томску.

На этот раз все обошлось здесь для него благополучно. Пароходом он добрался до железной дороги, прибыл в Петербург, а затем вскоре уехал в Париж.

«Я в жизни не встречал более замечательного человека, — говорил впоследствии о Лопатине Глеб Успенский, намеревавшийся даже написать о нем повесть «Удалой, добрый молодец». Жизнь Лопатина представлялась писателю благодарнейшим материалом для художественного произведения. Характеризуя «удалого, доброго молодца», Глеб Успенский писал: «Он видел все и вся. Это целая поэма. Он знает в совершенстве языки, умеет говорить с членом парламента, с частным приставом, с мужиком, умеет сам притворяться и частным приставом, и мужиком, и неучем, и в то же время может взойти сейчас на кафедру и начать о чем угодно вполне интересную лекцию. Это изумительная натура».

Третий побег Лопатина окончательно всполошил сибирскую администрацию. Снова возникли опасения, что Лопатин все-таки осуществит свой план. Снова верховой нарочный мчался с предписанием вилюйскому исправнику принять меры к разысканию Лопатина

и усилению надзора за Чернышевским. «Совершенно секретный» циркуляр предписывал неусыпный и еже-часный надзор за вилюйским узником.

В конце 1873 года иркутский генерал-губернатор получил анонимное письмо, в котором указывалось, что революционерами Бакуниным и Утиным разработан план освобождения Чернышевского. В Вилюйск был откомандирован полковник Купенков, который произвел внезапный обыск в остроге. Жандармы, ища подземный ход, взломали полы У Чернышевского были отобраны рукописи и 310 рублей. Деньги передали исправнику «для удовлетворения нужд Чернышевского по мере надобности».

Только этими «трофеями» и пришлось удовлетворяться полковнику. Во время обыска Купенков заметил Чернышевскому, что те, которые считают себя его друзьями, вредят ему, делая попытки к освобождению его из Сибири. Правительство потому, дескать, и лишено возможности облегчить его положение.

Чернышевский на это ответил:

— Согласитесь, что вы никогда не забудете фамилий Пушкина, Гоголя, Лермонтова, так современная молодежь будет помнить мою фамилию, хотя я этого не ищу... Если те идеи, которые я проводил десять лет тому назад, признаны преступными, то за них я потерпел довольно, подчиняясь суду, и не знаю за что, после истечения срока каторги, отягчают мою участь содержанием здесь и воспрещением печатать мои сочинения.

В рапорте Купенкова о произведенном обыске говорилось: «Сильно похудевший и пожелтевший Чернышевский эксцентричен, странен и необщителен с людьми, кроток и вежлив с надзором, проводит время в чтении и в письме, уничтожая свои работы. Обря-

дов православной церкви не соблюдает, в церковь не ходит, в пище воздержан, вина и водки не употребляет...»

В заключение Купенков указывал, что побег Чернышевского из Вилюйска почти немислим в силу географического положения этого города, местных климатических условий и безлюдности вилюйских окрестностей.

Об усиленной страже, охранявшей Чернышевского, Купенков в рапорте не упоминал — это подразумевалось само собою.

Вилюйский старожил Константин Жирков, по прозвищу Ладышка, служивший в казаках в годы заключения Чернышевского в остроге, рассказывал литератору Б. В. Лунину, посетившему Вилюйск в 1933 году

«Двор острога был не очень просторен, пустоватый, больше песку и мало зелени... Лес снаружи отстоял от палей¹ сажен на сорок. А камера его была большая, сама по себе светлая и окнами выходила на юго-восток, но свету мешали пали. Гулял Чернышевский по городу без всякой охраны, но только это одна видимость была, а на деле постоянная за ним слежка велась... Служило при нем нас семеро казаков, один жандарм и два урядника. Ночью мы посменно карауливали его, ходили снаружи вдоль палей. В карауле стояли по два человека, сменялись через каждые два часа. Зимой на нас были надеты тулупы, катанки и бараньи шапки с красным донышком и кокардой. Так и караулили, ночи-то зимние долги, а Чернышевский сидит с огнем допоздна. Уж куда за полночь небо перейдет. Называли мы его меж собой Николаем Гавриловичем...

¹ П а л и — частокол.

Отапливалась камера недурно, да только за зиму все равно промерзнет и отсыреет; он же в морозы почти и не гулял. К нему тоже никто не захаживал. Так и содержали мы его одного-одинешенька во всем остроге...»

Хотя Чернышевский давно уже привык ничему не удивляться, но картина нищенского, дикого существования безответных и бесправных якутов поразила его до глубины души. «Что это такое? — спрашивал он себя. — Люди ли это или хуже забитых собак, животные, которым нет имени?» И отвечал: «Люди, и добрые, и не глупые; даже, может быть, даровитее европейцев... Но это жалкие, нищие дикари, каких нет жальче на свете...»

Сначала он даже избегал выходить в город: так тяжело ему было смотреть на этих забитых, робких людей, которые при встрече с ним, узником вилюйского острога, еще издали снимали шапки и почтительно замирали на месте с непокрытой головой на тридцатиградусном морозе. Русского языка они не понимали, и поэтому Чернышевский пробовал объяснять им знаками, что делать так вовсе не следует. Подойдя к встречному якуту, он брал у него из рук шапку, потом отходил, кланялся ему, надевал свою шапку, показывая знаками, что и якут должен так делать — поклониться и опять надеть шапку. Некоторые понимали его, а иные пускались бежать, как только он протягивал руку к шапке, — им казалось, что он хочет ударить их.

Чернышевский не мог оставаться безучастным к их горестям и нуждам. Он захаживал в самые бедные юрты, вникал в дела их обитателей, лечил больных ребятишек простыми средствами, давал те или иные советы взрослым.

Скоро слух о необыкновенно отзывчивом и справедливом русском человеке достиг соседних наслегов. Короленко рассказывал со слов бывшего жандармского унтер-офицера Щепина: «Чернышевский был добр бесконечно, всем готов был помочь, особенно якутам, а тем более в болезни. К Чернышевскому часто приезжали якуты. Любили они его. Приедут бывало и спросят: «Есть Никола?» Чернышевский сейчас ставит им самовар и поит их чаем. По-якутски сам не говорил ни слова, но урядники-якуты переводили ему. Чернышевский любил копать канавы и осушил канавами много болотистых мест, сделав их годными к сенокосению для якутов. Якуты и теперь зовут эти канавы и луга «Николиными».

Жизнь русских вилюйчан была так бедна и бескрасочна, круг интересов их так неизменен, узок и жалок, что у Чернышевского пропадала потребность в общении с людьми, безнадежно погрязшими в обывательской тине. Ему скучно было слушать их вечные рассуждения о цене кирпичного чая, белки, коленкора, о грошовой игре в «стукалку». Это были зажиточные, по тамошним понятиям, мещане, занимавшиеся поставками мяса на золотые прииски или незначительными торговыми операциями на чукотской ярмарке. «И вся сумма жизни от истоков Лены до океана составляет такую сумму знаний и новостей, которых достаточно на полчаса разговоров в год», — с добродушной иронией писал Чернышевский.

Летом 1874 года власти попытались склонить Чернышевского к подаче просьбы о помиловании. Генерал-губернатор Восточной Сибири направил в Вилюйск своего адъютанта, полковника Винникова, для переговоров с Чернышевским о том, что если им будет передано прошение о помиловании, то его освободят из

вилюйского заточения и со временем возвратят в Россию.

Прибыв в Вилюйск, Винников направился в острог. Было два часа дня. Он не застал Чернышевского в помещении.

— Арестант гулять вышел, — доложил Винникову жандарм и указал в сторону небольшого озера невдалеке от острога. Там на скамейке сидел Чернышевский.

Винников подошел к Николаю Гавриловичу, представился и сказал, что имеет поручение генерал-губернатора узнать, нет ли у него жалоб, не нуждается ли он в чем-нибудь.

Чернышевский встал со скамейки и, окинув быстрым взглядом полковника, проговорил:

— Благодарю вас, кажется, всем доволен и претензий не имею.

Винников попросил Чернышевского сесть и сообщил, что у него есть к нему еще одно, более важное дело.

— Николай Гаврилович, — проговорил он, — я послан со специальным поручением от генерал-губернатора. Вот, не угодно ли прочесть и дать мне положительный ответ в ту или другую сторону.

С этими словами Винников подал Чернышевскому бумагу.

Николай Гаврилович молча взял ее, внимательно прочитал и, помедлив минуту, сказал:

— Благодарю. Но, видите ли, за что же я должен просить помилования? Это вопрос. Мне кажется, что я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер, а об этом разве можно просить помилования? Благодарю вас за труды. От подачи прошения я положительно отказываюсь.

Произошла неловкая пауза. Не ожидавший такого ответа Винников растерянно проговорил:

— Так, значит, отказываетесь, Николай Гаврилович?

— Положительно отказываюсь, — просто и спокойно подтвердил Чернышевский.

— Буду просить вас, Николай Гаврилович, дать мне доказательство того, что я вам предъявил поручение генерал-губернатора.

— Расписаться в прочтении?

— Да, да, расписаться.

— С готовностью.

Они направились в острог, зашли в камеру Чернышевского. Он присел к столу и написал на бумаге четким почерком: «Читал, от подачи прошения отказываюсь. *Николай Чернышевский*».

«Когда я уезжал из Вилюйска, — заключает свой рассказ Винников, — мне стало стыдно за себя».

Так умел влиять этот могучий духом человек даже на врагов. Недаром вилюйский исправник был официально предупрежден якутским губернатором о том, что «Чернышевский обладает способностью располагать в свою пользу лиц, приставленных к нему для наблюдения».

Вилюйчане рассказывали впоследствии, что Николай Гаврилович успел обучить нескольких своих стражников грамоте, письму и счету. С одним из таких стражников, прожившим с Чернышевским целый год, довелось однажды встретиться в Сибири писателю В. Короленко, и он был поражен его начитанностью.

Начальство хорошо знало об этом. Янковский, служивший в иркутском жандармском управлении, рассказывал за игрою в карты своим партнерам, что жандармские унтер-офицеры, возвращавшиеся в Иркутск

по отбытии годичной службы при остроге, оказывались заметно сообразительнее и развитее, чем были до командировки в Вилюйск.

Постоянный состав караульных время от времени сменялся, а за охранявшими его стражниками велось, в свою очередь, наблюдение.

Всякое появление нового лица в районе вызывало подозрительное внимание местных властей, и тотчас же завязывалась секретная переписка между соответствующими инстанциями.

11 июля 1875 года исполняющий должность вилюйского исправника Иван Жирков получил от письмоводителя Сунтарской инородческой управы письмо, в котором сообщалось, что несколько дней тому назад из Олекминска в Сунтар на наемных лошадях, без конвоя, прибыл некто Мещеринов. Письмоводитель добавлял, что, по словам прибывшего, он едет из Олекминска, а между тем никто не видел Мещеринова в Олекминске.

В тот же день Жирков получил известие и от своего помощника Поротова, встретившего Мещеринова в десяти верстах от Верхне-Вилюйской управы. Из письма было видно, что проезжий расспрашивал Поротова о том, когда идет почта из Якутска в Вилюйск, и потом сказал, что он вернется из Вилюйска не один, но еще не знает, каким путем — на Якутск или на Олекму.

Эти письма заставили Жиркова насторожиться. На следующий день, в два часа тридцать минут пополудни, к нему явился в форме жандармского поручика сам Мещеринов. Он предъявил три важных документа из иркутского жандармского управления на имя вилюйского исправника. Первый документ гласил: «Препровождая при сем телеграмму, полученную в управлении на ваше имя от генерал-губернатора Восточной Си-

бири, управление, с своей стороны, покорно просит вас не отказать в содействии поручику Мещеринову по исполнению возложенного на него поручения».

В телеграмме из Благовещенска, адресованной в иркутское жандармское управление, предписывалось вилюйскому исправнику оказать необходимое содействие поручику корпуса жандармов Мещеринову, командированному сопровождать Чернышевского в Благовещенск.

И, наконец, в третьем документе от иркутского жандармского управления предписывалось исполнить в точности и без малейшего замедления все приказы поручику корпуса жандармов Мещеринова, относящиеся до перевода посаженного в г. Вилюйске Николая Чернышевского во вновь назначенное место жительства.

Многое могло тут смутить исправника: Мещеринов прибыл без подорожной, без конвоя, у него не оказалось бумаги от якутского губернатора — непосредственного начальника. Подозрительным показался в официальных бумагах термин «посаженный», вместо «государственный преступник». Во всяком случае Жирков наотрез отказался выдать Чернышевского Мещеринову, усилил караул в остроге, не допустил Мещеринова к Чернышевскому, заявив, что без предписания якутского губернатора он не пустил бы и самого шефа жандармов.

Ничего не оставалось делать Мещеринову, как отправиться в Якутск. Исправник снарядил его в дорогу и послал с ним, якобы для сопровождения, двух казаков, с которыми отправил донесение о случившемся. На первой же станции от Вилюйска Мещеринов переоделся, отдал свою форменную одежду казаку Семену Бубякину, приметившему, что в поясе, прикрепленном

к брюкам, оказалось два кошелька с большим количеством денег. Переодеваясь, Мещеринов сунул в боковой карман две какие-то бумаги, а остальные отдал казаку.

Дорогою он расспрашивал у казаков названия улусов, наслегов, записывая эти сведения в книжечку. Интересовался он также, где можно купить порох, где достать лодку и можно ли по реке Вилюю попасть в Якутск. На полпути от Вилюйска Мещеринов, заметив, что казаки зорко следят за ним, решил отделаться от них. Улучив момент, он стал стрелять в казаков, ранил одного из них и скрылся в лесу.

Получив это тревожное известие, перепуганный вилюйский исправник немедленно нарядил для поимки беглеца трех казаков из «благонадежных» и знающего «медицинскую часть» купца Добронравова (в Вилюйске ни врача, ни фельдшера не было) для оказания помощи раненому казаку Бубякину. Казакам велено было «принять все меры к розыску Мещеринова, стараясь всеми мерами схватить его живым. Если он будет сопротивляться, то в крайности употребить огнестрельное оружие, стреляя по ногам, не наносить ему смертельных ран и не лишать жизни».

В рапорте на имя якутского губернатора исправник просил усилить местную команду присылкой десяти солдат и двух унтеров, выражая опасение, что если революционеры увезут Чернышевского, а его, исправника, убьют, то будет «большая беспомощность городу Вилюйску и всему казенному интересу». Губернатор, получив донесение, выделил для розысков Мещеринова двух казаков, а для усиления караула вилюйского острога направил команду из шести человек под начальством ефрейтора Годунова.

Вскоре Мещеринов был пойман в Якутском округе

и арестован. Он не сразу назвал свою подлинную фамилию, выдавая себя некоторое время за сына вологодского священника Титова. Но заперался он недолго и в конце концов вынужден был сообщить подлинные сведения. Он оказался разыскиваемым полицией революционером Ипполитом Мышкиным.

Так рушился и этот смелый план освобождения Чернышевского.

После поимки Мышкина вилюйский исправник написал якутскому губернатору, что Чернышевского следует перевести в другое место или назначить для надзора за ним семьдесят человек солдат и одного офицера. «Я и мои помощники находимся в постоянных отлучках, — доносил исправник, — половина казаков местной команды — в постоянных отлучках и командировках. При такой обстановке три-четыре человека, притом вооруженные, могут взорвать пороховой погреб, где имеется сто и более пудов пороху, два спиртных склада, а при пожарах, при отсутствии здесь огнетушительных средств, ничего нельзя сделать. Злоумышленники не оставят своего намерения относительно Чернышевского...»

Ничто не могло сломить волю великого борца. Он попрежнему много и упорно работал. Один из мемуаристов рассказывает: «Мне было известно, что Николай Гаврилович в продолжение зимних ночей что-то писал, а под утро все написанное сжигал. Однажды я спросил его, для чего он это делает. Он мне ответил: «Да, вам это известно? Ну, тогда я вам скажу, для чего я это делаю: если бы все это время я ничего не писал, то я бы мог сойти с ума или все перезабыть; а то, что я раз написал, этого уже не забуду».

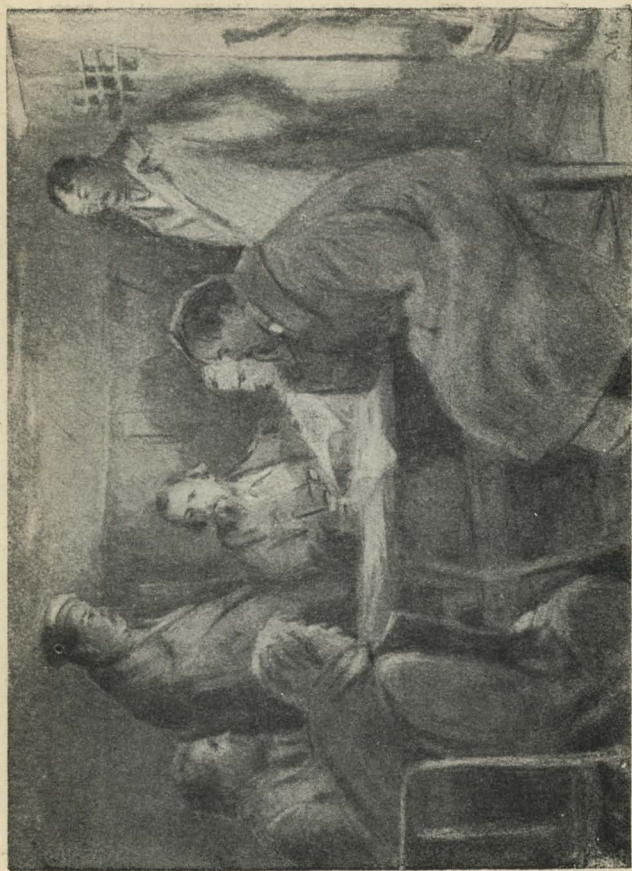
В Вилюйске у Чернышевского осталась единственная возможность высказывать свои взгляды по теоретическим вопросам в письмах к родным. Он не пренебрег и этой возможностью. Сохранились вилюйские письма Чернышевского к сыновьям — Александру и Михаилу. Собственно, это и не письма даже, а обширные статьи и трактаты, в форме «бесед» по вопросам естествознания, философии, истории, математических наук.

Он остался верен философскому материализму и, продолжая борьбу за утверждение научно-материалистического мировоззрения, подвергал непримиримой критике входившие тогда в моду на Западе и в России субъективный идеализм, неокантианство и позитивизм.

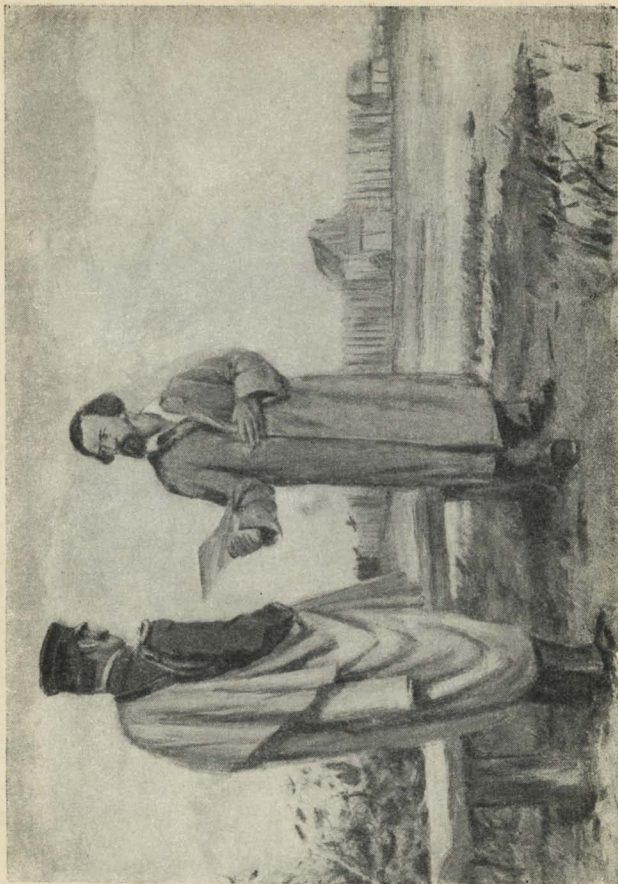
За долгие годы вилюйского одиночества Чернышевский написал десятки романов, но из всего написанного уцелели и дошли до нас только две части романа «Отблески сияния». Опасаясь внезапных обысков, писатель взял за правило уничтожать все написанное. «Пишу и рву: беречь рукописи не нужно: остается в памяти все, что раз было написано, — говорит он в письме к Пыпину в 1877 году, — и как услышу от тебя, что могу печатать, буду посылать листов по двадцати печатного счета в месяц...»

Однако попытки его переправить официальным путем хотя бы совершенно «невинные» по содержанию произведения в редакцию журнала «Вестник Европы», к которому был близок Пыпин, терпели неудачу. Посылаемые произведения оставались в недрах Третьего отделения.

В 1877 году до Чернышевского дошла весть о смертельной болезни его друга и соратника — Н. А. Некрасова.



Н. Г. Чернышевский в ссылке читает свои произведения товарищам.
(Рис. художника Д. А. Минькова.)



Отказ Н. Г. Чернышевского от подачи прошения о помиловании. (Рис. художника С. Бойм.)

Потрясенный этим известием, Чернышевский писал Пыпину « Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю его за доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов

Я рыдаю о нем Он действительно был человек очень высокого благородства души и человек великого ума И, как поэт, он, конечно, выше всех русских поэтов»

Эти слова друга успели дойти до умирающего поэта «Некрасов еще жив, — писал в ответном письме Пыпин 5 ноября 1877 года. — Сегодня я опять застал у него докторов, но он просил, чтоб я зашел к нему Я передал ему твои слова. Он был тронут «Скажите Николаю Гавриловичу, что я очень благодарю его, я теперь утешен, его слова дороже мне, чем чьи-либо слова »

27 декабря великого народного поэта не стало

Трагическая участь Чернышевского волновала не только его друзей и соратников Голоса в защиту его проникали и в печать В самом начале 1881 года газета «Страна» выступила с передовой статьей о вилюйском узнике «Далеко в Восточной Сибири, в Якутской области есть город, призрак города — Вилюйск Он известен тем, что в нем, — географически далеко от умственных центров страны, но нравственно им близко, — скрывается пример несправедливости, жертва реакции Там живет, т е едва прозябает, отчужденный от семьи, от товарищей в русской литературе, лишенный почти всех условий человеческого существования — Н Г Чернышевский»

Тщетны были призывы передовых людей России, тщетны были многократные обращения родных Чернышевского к правительству о смягчении его участи — Александр II был неумолим к вилюйскому узнику, видя в нем своего заклятого врага.

Дело о перемещении Чернышевского сдвинулось с мертвой точки только после смерти Александра II¹.

Опасаясь террористических актов со стороны революционеров во время предстоявшей коронации Александра III, правительственные круги вступили через посредников в негласные переговоры с Исполнительным комитетом «Народной воли» об условиях перевода Чернышевского из Вилюйска в Европейскую Россию.

27 мая 1883 года последовало «предварительное соизволение» Александра III «на перемещение Чернышевского под надзор полиции в Астрахань, с тем чтобы по пути следования не делалось ему каких-либо оаций».

¹ «Когда был убит Александр II, — рассказывает в воспоминаниях вилюйчан о последних днях пребывания Чернышевского в Сибири, — это держали от Николая Гавриловича в большом секрете, но раз он пришел к Дауровой и по обыкновению спросил: «Что нового?» Старушка-казачка сообщила ему о смерти Александра II, на что Николай Гаврилович заметил: «Если убить Лаврентия, то Климовский дешевле не продаст». (Лаврентий и Климовский — два купца, торговавшие друг против друга.) («Былое Сибири», 1923 г. № 2, стр. 58.)

